

Е. Д. КУКУШКИНА

**«ЗАПИСКИ»  
ПРАСКОВИИ НИКОЛАЕВНЫ  
ЛЬВОВОЙ**

«Записки» Прасковии Николаевны Львовой о Г. Р. Державине никогда не публиковались полностью, хотя были введены в научный оборот еще Я. К. Гротом. По свидетельству Грота, П. Н. Львова составила их под влиянием своей учительницы Леблэр-Лебэф, которая «заставляла ее в виде упражнения исподволь записывать свои воспоминания и впечатления». «Объемистая тетрадь ее (П. Н. Львовой. — Е. К.) руки» была передана Я. К. Гроту Е. Н. Львовой, сестрой Прасковии Николаевны.<sup>1</sup> Отдавая должное этим запискам П. Н. Львовой, которые, «хотя и служили ей ученическим упражнением, так хорошо составлены, что читателям конечно небезынтересно будет ознакомиться с несколькими отрывками из тетради ее в подлиннике» (IX, 219), Грот полностью опубликовал и по-французски, и в русском переводе самое их начало, датированное 14 августа 1811 г., а также фрагменты о воцарении на престол Екатерины II и Павла I (IX, 219—224). Другие страницы записок, которые касаются поездки Г. Р. Державина в Малороссию и последних дней его жизни, Грот процитировал, а чаще пересказал в VIII т. «Сочинений» Державина, составляющем его биографию (VIII, 953—954, 980—982, 986—1004). Впоследствии именно этот гротовский пересказ «Записок» многократно использовался исследователями жизни и творчества Г. Р. Державина.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Державин Г. Р. Сочинения. Изд. Грот Я. К. Пб., 1880. Т. 8. С. 986. Далее ссылки даются в тексте с указанием тома и страницы.

<sup>2</sup> См., например: Ходасевич В. Ф. Державин. М., 1988; Глинка Н. И. Державин в Петербурге. Л., 1985.

Сопоставление опубликованного текста «Записок» с рукописью, которой пользовался Грот (ИРЛИ, д. 15. 886), позволило А. Л. Зорину выявить некоторые разночтения, показывающие издательские приемы Я. К. Грота, и сделать уточнения к биографии Державина. Так, во фрагменте о первой встрече Державина с Екатериной II, слова Державина: «...была она большая комедианка», — характеризующие императрицу, Грот заменил более нейтральным выражением: «...она мастерски играла свою роль». В одном из фрагментов рукописи, опущенной Гротом при публикации, упоминается И. И. Бахтин, о знакомстве которого с Державиным не было известно.<sup>3</sup>

Грот использовал «Записки» лишь как источник фактического материала к биографии Державина. Вне его внимания, а следовательно и за рамками издания, оказались фрагменты «Записок», дающие представление о личности самой П. Н. Львовой. Таким образом была нарушена целостность «Записок», как одного из произведений мемуарного жанра.

Прасковья Николаевна Львова (1793—1839), дочь Н. А. Львова и племянница второй жены Державина, Дарьи Алексеевны, рано осиротев (отец умер в 1803 г., а мать — в 1807), вместе с сестрами жила в доме Державиных, оставаясь там и тогда, когда сестры вышли замуж (Елизавета в 1810 г. за Ф. П. Львова, Вера в 1812 г. за генерала Воейкова). По воспоминаниям С. В. Капнист (впоследствии Скалон), «кузина наша, Прасковья Николаевна Львова, красивая брюнетка, была очень мила, удивительно как скромна и приветлива» (VIII, 952).

«Записки» П. Н. Львовой можно условно разделить на две части. Первая запись, датированная 14 августа 1811 г., повествует о каждодневном времяпрепровождении Державина в Званке. Уже этот фрагмент содержит повествовательные формы, характерные для мемуаров, — портрет Державина, дающий представление о его внутреннем мире, и небольшие сценки с многочисленными персонажами. Последующие записи велись крайне нерегулярно: 1 июля 1812 г., 15 июня 1813 г. и т. д. Впечатления о поездке в Малороссию (с 15 июня по 26 августа 1813 г.) составлены, очевидно, на основе путевого дневника. О том, что П. Н. Львова вела дневник, говорится в ее «Записках» от 17 августа 1813 г. Первая часть «Записок» завершается описанием событий 18 июня 1814 г.

Следующая запись, начатая 29 июля 1816 г., через три недели после смерти Державина, по сути составляет вторую и большую часть «Записок». Выдержанные в совершенно иной тональности,

<sup>3</sup> Зорин А. Л. Две заметки к биографии Г. Р. Державина. Изв. АН СССР. Сер. ОЛЯ. 1986. Т. 45, № 1. С. 64—69.

эти записи делаются уже не для упражнений во французском языке, но отвечают внутренней потребности их автора: «...мое единственное утешение в том, чтобы говорить о нем, вновь вспоминать все его слова, так хорошо запечатлевшиеся в моем сердце и дающие представления о чувствах, которые питала эта ангельская душа».

В первой части «Записок» Державин предстает человеком, подводящим итоги жизни и пожинающим плоды своих прежних благодеяний. Служба государству, общение с императрицей, да и весь блестящий Екатерининский век — все теперь для него в прошлом. Даже всегдашний недруг Д. П. Трошинский теперь просто старик и интересный собеседник. Бюст Державина, соседствующий в саду графини Браницкой с бюстом покойного Потемкина, — черта, достойно венчающая это прошлое. Завершенной представляется и литературная карьера Державина.

Ощущением невозвратимой утраты пронизана вторая часть «Записок», в которой Державин — «добрый дядюшка», проводящий время в кругу близких людей в любимой им Званке. В этом повествовании много структурно законченных сцен, то мимолетных, то разработанных с театральной обстоятельностью и наглядностью, выразительны и эмоциональны диалоги. Иногда П. Н. Львовой удается несколькими штрихами раскрыть характер персонажа. Это относится, например, к Александрине Кожевниковой. Описание событий перемежается размышлениями и риторическими отступлениями. Львова стремится объяснить скрытые мотивы своих действий и поступков других людей. В своем восприятии окружающего мира она близка Державину, для которого вся природа была проявлением божественного начала. Композиция приобретает законченность в сцене поминок, перекликающейся с эпизодами подготовки к именинам Державина: «Вот гости, которых обещал нам мой дядя! Вот какие песни были у нас в его день!...»

Текущее сознание, стремление к самопостижению, внимание к малейшим движениям души характерны для последних страниц «Записок». Естественные в такой ситуации размышления о непрерывной смене счастья и несчастья в жизни человека, о фатуме, судьбе, окрашены в мистические тона, которыми и завершается рукопись.

«Записки» Львовой служат своеобразным фоном для биографических преданий о Державине, появившихся после его смерти. В них часто говорится о безграничной доброте Державина, причем фактическое событие обрастает вымышленными подробностями. Характерен описанный П. Н. Львовой случай с булочками, испеченными к именинам Державина, от которых он вынужден был отказаться по настоянию Дарьи Алексеевны. В записках А. П. Кожевникова

«Некоторые черты Званской жизни», сделанных после 1842 г., этот эпизод рассказан иначе: «Всегда невоздержан в пище, несдержанный диетами, соблюдаемыми Д. А. (Дарьей Алексеевной. — Е. К.), он (Державин — Е. К.) нередко на нее сердился, один раз вышел из-за стола один и раскладывал свой пасьянс, а когда жена, придя со всеми, начала извиняться, говоря, что он рассердился на нее, так он, удивясь, спросил, а за что, и прибавил, а я это и забыл — был горяч, но отходчив».<sup>4</sup> Тот же эпизод в воспоминаниях М. Ф. Ростовцевой, дочери Елизаветы Николаевны Львовой, внучатой племянницы Державина, отличается характерными чертами анекдота — установкой на подлинность и создание психологического портрета:

«Вспоминая всегда с восхищением о доброте Гавриила Романовича, Дарья Алексеевна рассказывала следующий случай, которого все три племянницы были свидетельницами.

Не помню хорошенько, но какое-то пирожное Гавриил Романович любил особенно.

Это пирожное было заказано к обеду. Дедушка нехорошо себя чувствовал, и Дарья Алексеевна пирожное отменила. Приказание ее, не знаю почему, не было исполнено, и пирожное подали к столу.

— Ах, как несносно! — сказала Дарья Алексеевна с нетерпением, ведь я говорила, чтобы этого пирожного не делали.

— Ну, уж извини, мой друг, — заметил Гавриил Романович, приближая к себе блюдо, и с поспешностью положил себе на тарелку довольно большую порцию.

— Нет, мамичка, как хочешь, сердись ты на меня или нет, а я тебе не дам, — продолжила Дарья Алексеевна, отнимая у него тарелку, — ты так дурно себя чувствовал; и несмотря на его сопротивление она тарелку у него отняла и отдала человеку. Гавриил Романович вскочил со стула, бросил салфетку на стол, плюнул в сторону и ушел из столовой скорыми шагами.

Сидящие за столом молоденькие его племянницы даже притихли, так перепугались, воображая, что это семейная сцена и что будет какая-нибудь беда, они со страхом друг на друга поглядывали, одна бабушка преспокойно продолжала кушать свое пирожное, как будто ничего не случилось.

Когда вышли из-за стола, то увидели, что в гостиной, за круглым столом Гавриил Романович раскладывал в карты пасьянс.

Бабушка подошла к нему, ласково взяла за руку и, поцеловав ее,

<sup>4</sup> ИРЛИ, ф 6962, XXXV6. 50, л. 8.

с нежностью сказала:

— Что, мамичка, рассердился ты на меня?

— За что? За что? — спросил он с удивлением и совершенно добродушно.

— А за пирожное-то, отвечала, смеясь, бабушка.

— Я и забыл, — сказал Гавриила Романович, беззаботно махнул рукой и продолжил раскладывать свой пасьянс.<sup>5</sup>

Рассказ Державина о его первой встрече с Екатериной II, который был записан П. Н. Львовой, приобрел в обработке М. Ф. Ростовцевой черты краткой повести с несколькими персонажами.<sup>6</sup>

О жизни П. Н. Львовой после смерти Державина известно немного. Несмотря на свои литературные способности, писательским трудом она не занялась, посвятив себя домашним заботам. В 1817 г., поднося ей томик своих сочинений, И. А. Крылов сделал такую надпись:

Счастливы басенки в руках твоих,  
Люби и жалуй их,  
И если иногда стихи мои не гладки,  
Читая их в кругу друзей под вечерок,  
Улыбкою своей ты скрадь их недостатки;  
и слабые стихи в устах красавиц сладки —  
так мил нам на груди у них простой цветок.<sup>7</sup>

В 1819 г. П. Н. Львова вышла замуж за К. М. Бороздина, археолога и историка. Прожив с ним 20 лет, она скончалась 3 февраля 1839 г. и была похоронена в паперти Вознесенской церкви Саввина Вишерского монастыря Новгородского уезда.

«Записки» публикуются в переводе на русский язык, который сделан с рукописи и сверен с переводом Я. К. Грота. Русский текст рукописи выделен курсивом. В некоторых случаях длинные предложения оригинала вместо точки с запятой разделены точкой. Орфография и пунктуация приближены к современным.



---

<sup>5</sup> Ростовцева М. Ф. Воспоминание о Гаврииле Романовиче и Дарье Алексеевне Державиных с присовокуплением четырнадцати анекдотов из жизни Державина. Семейные вечера. 1864. № 3, март. С. 169—170.

<sup>6</sup> Там же. С. 173—176.

<sup>7</sup> Крылов И. А. Сочинения, М., 1946. Т. 3. С. 310.

## ЗАПИСКИ ПРАСКОВИИ НИКОЛАЕВНЫ ЛЬВОВОЙ

**Понедельник, 14 августа, Званка, 1811.**

Утром, после завтрака, мой дядя обычно уходит в свой кабинет, где собирается целая толпа детей, которым он раздает по будням крендели, а по воскресениям пряники. Нет ничего более любопытного, чем видеть доброго дядюшку, окруженного этими забавными малышами; он везде и во всем выказывает ту же справедливость; иногда случается, что кому-то из малышей недостает кренделя. Дядя мой не может вынести, чтобы один получил меньше, чем другие; он посылает искать по всему дому и не успокаивается, пока все доли не будут равны. Тогда он их отпускает, все очень довольны и обещают воротиться на другой день. Очень часто я присутствую при этом дележе, находя истинное удовольствие в том, что вижу почтенное лицо моего дяди, на котором отражается ангельская доброта, посреди этой группы детей; он с ними разговаривает, его доброта видна в каждом его слове; иногда он выступает в роли их судьи. Когда к нему обращаются с жалобами, он терпеливо их выслушивает, и, выслушав обе стороны, делает легкий выговор тому, кто не прав, и восстанавливает мир между поссорившимися малышами.

Затем одна из нас читает вслух; обычно нам служит для этого «Всемирный путешественник»<sup>1</sup> за недостатком более интересных произведений. Мы часто замечали, что всякий раз, когда дядя задремывал, и его случайно будил какой-нибудь шум, и он просыпался, он открывал глаза, улыбаясь, и эта улыбка была его единственным укором тому, кто его разбудил.

**1 июля 1812.**

Возвратившись из Пскова в Званку, мой дядя Державин получил приказ снова прибыть в Новгород, куда приехал принц Ольденбургский и созвал все высшее дворянское общество; одновременно мы узнали, что Витебск, Минск и вся Курляндия были захвачены врагом.

15 июля мой дядя вернулся из Новгорода. От него мы узнали, что принц прибыл от имени императора просить помощи у знати, обещая сформировать из нее отдельный корпус и выбрать командующего. Сам он призвал жителей Новгорода оставить государственную службу и пойти сражаться против общего врага.

Прибыв в Петербург, мы нашли там всеобщую растерянность. Смоленск был только что взят. Мы готовились к отъезду из города, часть жителей, отступив, уже нашла приют в Вытегре. Все присут-

ственные места были закрыты, поговаривали также, что часть казны и имущества многих вельмож были увезены в Або; самое ужасное среди всех приготовлений, которые вынуждены делать, это то, что опекунский совет отказывался выдать жителям, хотя бы частично, деньги, которые они поместили в банк. Под предлогом, что казны не достаточно, чтобы удовлетворить всех. Все попытки моих братьев были бесполезны; мой добрый дядюшка, видя наши затруднения и осудив всех к ним причастных, решился написать письмо к вдовствующей императрице, где он изложил все обстоятельства и сообщал, что в случае продления отказа пострадает общественное доверие к кредиту государства. Благодаря Небу, это письмо имело желаемый успех и на завтра г. Саблуков, директор банка, прибыл поблагодарить от имени публики дядю за полученный капитал. Мы получили наш, и с этого момента мои дядя и тетя занялись подготовкой нашего отъезда; нас отправляли с моим зятем Львовым в Каргополь; что касается моего дяди, он с самого начала опасности постоянно настаивал на том, чтобы ничего не отправлять и не оставлять города, пока враг не окажется в нескольких верстах. Моя тетя решила его не покидать, и наши приготовления к путешествию, которые нам напоминали без конца о том, что мы должны покинуть моего дядю и тетю, становились день ото дня все грустнее. Наконец, однажды вечером, собравшись, мы устроили семейный совет и попросили разрешения остаться с ними до последней крайности. Среди всех наших печалей и волнений мои дядя и тетя высказали пожелание поехать в Киев, если случится отогнать неприятеля и покой придет на место бури. И действительно, 15 июня 1813 мы поехали из Званки. 24 июня прибыли в Москву, следуя, так сказать, по стопам неприятеля. Мы видели все бедствия, которые он причинил. 26 июня мой дядя вернулся из Кремля. Он вернулся оттуда грустным от разрушений, которые он там увидел, но удивленный, что чудом сохранилась нетронутой икона Святого Николая над входом в Кремль, над воротами, в то время как целый угол ворот был унесен взрывом.

28 июня мы остановились на станции Лопасна недалеко от Москвы; не было лошадей и мы задержались надолго, но это обстоятельство доставило моему дядюшке радость совершить доброе дело, до которых он всегда охотник. Едва мы вошли в избу, как увидели, что по деревне бежит толпа крестьян с криками, что утонул человек. Тотчас мой дядя, забыв об усталости от путешествия, взял с собой доктора и отправился прямо на место, где находился несчастный. Его вытащили из воды, но без признаков жизни. Мы узнали, что он был болен и во время приступа бросился в воду, и там, потеряв сознание и все силы, пошел на дно. Мой дядя заста-

вил доктора<sup>11</sup> употребить все необходимые лекарства, чтобы вернуть его к жизни. Но было очень трудно привести его в сознание из-за толпы крестьян, окружавшей его; одни тянули его на своих спинах, другие настаивали, что его надо покатаь на бочке, которую они принесли, и не разрешали почти доктору приблизиться к умирающему. Мой дядя, видя, что такое лечение лишает утопленника остатков жизни, решил употребить свой авторитет: «Отойдите, — крикнул он, — и положите его на землю!» «Нет, барин, — ответили ему, — на землю не положим, не то земля его пожрет». Он улыбнулся этому предубеждению и отказался от своего приказа. Подошел доктор и принялся растирать утопленника, дал ему понюхать сильного спирта. Крестьянин очнулся, и его жизнь была спасена. Через несколько мгновений он пришел в сознание, принял еще некоторые лекарства, и через несколько часов он чувствовал лишь небольшую слабость. «Вот — сказал мой дядя, вернувшись в избу, — как все к лучшему произошло — эта нехватка лошадей, которая меня сначала сделала нетерпеливым, так как это случилось впервые; утонувший, может быть, бы умер, но, благодаря богу и Карлу Григорьевичу, он спасен». 2 июля мы остановились в Мценске в 25 или 30 верстах от Орла. Мой дядя нас предупредил, что он там совсем никого не знает; едва он это сказал, как мы увидели, что едет много экипажей, сначала мы их приняли за путешественников, но, к нашему великому удивлению, это была одна большая семья, когда-то спасенная от нищеты справедливостью моего дяди, которая приехала выразить ему всю свою признательность и пригласила его остановиться у них. Эта семья состояла из почтенной бабушки, по имени м-м Хлопова, которая была окружена своими детьми и внуками и, казалось, была старейшиной этой семьи; она приехала во главе ее на встречу с дядей, так что было похоже, что он с триумфом въезжает в Орел. Мы остановились у них и провели там очень приятно 3 июля (день рождения моего дяди), и потом так же, как нас встретили, то так же всей семьей и проводили до Кромн 4 июля. Мы ехали быстро, но, однако, продвигались очень мало, так как мой дядя, желанный повсюду, вынужден был останавливаться почти в каждом городе. Там самый знатный из находящихся в службе дворян приезжал просить остановиться у него. Тогда его дом заполнялся людьми, которые нам были совсем незнакомы. Одни приезжали посмотреть на моего дядю как на автора «Фелицы», другие, в парадной форме, тщательно застегнутые, приезжали оказать ему почести, будучи уверены, что он был послан императором с секретной миссией проверить, какой порядок царит в глубине империи; иные приезжали к нему как к благодетелю, напоминали ему свое дело, в котором он протянул им руку помощи, и так ис-



кренне выражали свою признательность, что это доставляло моему дяде минуты поистине восхитительные. Он, в свою очередь благодаря всех, разговаривал с ними со своей обычной добротой: *«Благодарю вас, но кто вы, не знаю и вас совсем не помню»*. Мы проехали через Батурино, где мой дядя много рассказывал мне о семье Разумовских и о ловкости, с которой императрица Екатерина привлекла его ко двору и осыпала богатством и честью, но отобрала у него титул гетмана, а с ним и власть над жизнью и смертью 50 000 душ.

7 июля мы прибыли в Обуховку к моему дяде Капнисту<sup>III</sup>. Радость была большой как с одной, так и с другой стороны. Там мы нашли гостей. Это был господин Трошинский с семьей<sup>IV</sup>. Этот старик, который на протяжении всей своей политической жизни стоял на дороге моего дяди и почти всегда имел противоположное мнение, казалось, был очень рад этой встрече, так как возраст и опыт утихомирили страсти и сделали истину более твердой, но также и более снисходительной. Их разговоры были по-настоящему интересны, и часто к ним примешивались остроты моего дяди Капниста.

19 мы продолжили поездку. Ужасная гроза застала нас в 10 верстах от Трубецы (деревни Петра Васильевича Капниста). Сильный ливень, молнии, которые одни нам освещали дорогу, по которой мы должны были ехать, усталость наших лошадей, которые почти не двигались больше вперед, наконец, голос нашего кучера, который, остановившись окончательно, сообщил нам на своем малороссийском наречии, *«что гребля прорвалась»*. Нам пришлось искать пристанища в одиноком доме, принадлежавшем некоему г-ну Галицкому, и вынуждены были там кое-как провести остаток ночи. Мой добрый дядюшка, вовсе не рассерженный этой помехой, первым стал над ней потешаться; он говорил, что хотел написать поэму, где изобразил бы двух фей, одну добрую, а другую злую, которые поочередно руководили нашим путешествием, доказывая свою власть. На следующий день гребля была починена и мы прибыли к Петру Васильевичу.

25 июля мы прибыли в Киев и провели там 3 дня, посещая все, что было любопытного. Мой дядя обещал графине Браницкой<sup>V</sup> приехать в ее прекрасное имение Александрию, которое находится в 73 верстах от Киева. Поторавливаемые ее просьбами, мы поехали 28 июля и, благодаря любезному вниманию графа Санти (губернатора Киева), который предусмотрел все, чтобы наше путешествие было приятным, прибыли через несколько часов в Александрию. Воспоминание о князе Потемкине было, кроме прочих, одним из сюжетов разговора. Графиня отвела нас в нечто, похожее на Пантеон, воздвигнутый в его честь, его бюст был поставлен среди других бюстов знаменитых людей. Мы там нашли и бюст моего дяди. Повосхищавшись прекрасными

садами Александрии, увидев все наиболее интересное в Белой Церкви, 1 августа мы вернулись в Киев и провели там еще несколько дней. Вернувшись в Орел, мы увиделись еще на некоторое время с семьей Хлоповых и направились в Москву. 13 августа Москва снова предстала перед нашим взором, и, к нашему великому удовлетворению, показалась нам в лучшем состоянии, чем была, когда мы проезжали по ней впервые. Многие каменные дома, лишь стены которых уцелели при пожаре, были восстановлены заново, и в них уже жили. Нескончаемое множество рабочих всякого рода трудились в разных местах города. Шум их молотков, сочетающийся часто с их пением, оживлял город, так недавно пустой и весь в пепле. Мы покинули Москву. Чтобы сократить скуку поездки, мой дядя велел читать вслух перевод «Матильды, или О крестовых походах».<sup>VI</sup> Иногда он любил рассказывать мне про царствование Екатерины и однажды сообщил мне в следующих словах о восшествии ее на престол. «Накануне Петрова дня в 1762 году государь, императрица и весь двор отправились в Петергоф, чтобы там провести именины императора; но, вместо того, чтобы посвятить этот день увеселениям, государыня в ту же ночь уехала в Петербург со всей своей свитой. Прибыв туда в три часа ночи, она остановилась в Летнем дворце, который в то время находился там, где нынче музыкальный клуб, на углу Мойки и Невского. Я был тогда сержантом в Преображенском полку, и, к великому моему удивлению, меня разбудили в четыре часа утра. Нам было приказано немедленно отправиться ко Дворцу; императрица стояла уже на балконе, окруженная вельможами и преданными ей полками. Их пушки были заряжены и поставлены так, чтобы по первому знаку начать пальбу. Привели к присяге сначала Измайловский полк, который своими знаменами и приветствовал ее как русскую императрицу. Этот полк был расставлен по Мойке с заряженными ружьями. Потом явились и другие полки и расположились таким же образом. Я также должен был присягнуть, дивясь, что приходилось возобновлять присягу так часто и что ее так дурно соблюдали, ибо не прошло еще и двух лет с тех пор, как присягали Петру III, а теперь клялись в верности императрице, не зная даже, что сделалось с несчастным государем; но все это совершалось с такой строгостью и велось так искусно графами Орловыми и самой государыней, что наиболее преданные Петру III полки повиновались беспрекословно и присягнули его супруге. Тотчас после этого великого обряда, не дав войскам отдохнуть ни минуты, нас погнали в Петергоф, чтобы привести к присяге те полки, которые там оставались. Оттуда императрица, надев преображенский мундир и сев на прекрасную белую лошадь,\* с обнаженной шпагой в руках вступила торжественно в Петербург. Она была

---

\* Эту лошадь еще показывают в кунсткамре.

встречена неоднократными приветствиями и с той минуты приняла бразды правления. Что касается несчастного императора, оставшегося в Петергофе в Петров день, то он был страшно поражен, войдя в покои своей супруги, никого там не нашел; еще более удивился он, увидев, что все приближенные к нему вельможи покинули его. Неизвестно, куда он потом девался; но в самый день выезда императрицы из Петергофа видели, как карета, запряженная шестерней, неслась по ораниенбаумской дороге. Говорят, злополучный император скончался в Ропше. На другой день императрица издала манифест, в котором объявила, что по случаю внезапной смерти императора она поставлена в необходимость принять верховную власть. Солдаты, всего более противившиеся новому порядку вещей, были привлечены на ее сторону деньгами и вином; повсюду обнаружился полнейший беспорядок. Войскам позволено было разграбить на петергофской дороге трактир *Красный Кабак*, и вообще их не могли, да и не хотели сдерживать; порядок был восстановлен только тогда, когда императрица вполне убедилась, что может царствовать безопасно. Таково было воцарение Екатерины! Таковы были средства, которыми она достигла престола, средства ужасные, и однако же доставившие России 34 года славы и благоденствия.»

17 августа мы покинули Москву. 26 августа, в годовщину ужасного сражения под Бородино, мы приехали в Званку и, принявшись за мои чтения с дядей, я предложила ему закончить «Матильду», которую прервали другие чтения, но, видя, что его это не интересовало, я попросила его почитать с ним все его сочинения, спрашивая у него объяснения того, что я не понимала; он имел любезность к ним добавить часто анекдоты, которые я переносила в свой дневник, если они не были помещены в его ремарки, продиктованные до этого. Я добавила бы только о смерти Петра III, о которой говорил дядя, то, что он мне только что рассказал.

Император Павел при своем восшествии на престол повелел вырыть тело Петра III и торжественно перевезти его сперва во дворец, а оттуда в крепость, для погребения с другими государями. Не довольствуясь этим странным актом неуважения к памяти своей матери, он захотел выкупить Ропшу у Лазаровича, которому она принадлежала, и назвать ее Кровавым полем. Но, не смотря на это, Ропша сохранила свое прежнее название, хотя и перешла в собственность казны. Иногда после наших чтений дядя рассуждал о политике. Сегодня он распространялся о том, как много зла один человек нанес всей Европе. Вообрази, сказал мне мой добрый дядюшка, что в 1786 году Бонапарт просился в русскую службу, находя, что во Франции производство в чины шло слишком медленно. Он просил принять его в русскую армию майором; императрица ему отказала, соглашаясь дать ему только чин поручика. Таким образом дело не устроилось.

**18 июня 1814.** Все это время дядя заставлял меня читать различные похвальные слова разным великим людям, говоря, что он намерен написать похвальное слово императору Александру по поводу целого ряда одержанных им блистательных побед, и, так как он совсем не был знаком с этим родом сочинений, то, желая знать, что написано подобного другими. Всего более ему понравилась похвала Марку Аврелию, хотя он находит, что она писана не совсем согласно с правилами, так как действие в ней смешано с повествованием. Иные похвальные слова иногда усыпляли моего дядю. В результате всех наших чтений в этом жанре, когда мой дядя то слушал, а то дремал, он наконец сказал мне, что лень его одолела и что больше он писать не будет: «Я много писал, — теперь я старый и моя литературная карьера закончена, я оставляю молодым поэтам заботу меня заменить». Время от времени он любил рассказывать мне о моем отце, о советах, которые он получил от него по поводу своих сочинений, заставляя меня читать те из них, которые отец предпочитал, и много раз перечитывал стихи, написанные на его смерть.

#### **Званка. Суббота 29 июля.**

Бог хотел нам ниспослать грозное предзнаменование неожиданной смерти моего дяди, случившейся с 8 на 9 июля 1816 г., или, скорее, 9 в 1 час 30 минут утра. Эта роковая ночь, видевшая столь гнетущее отчаяние, совершенная безопасность, как мы полагали, в отношении его здоровья, испуг, ужас овладели нами настолько, что даже по горю мы не могли чувствовать.

Теперь, когда три недели прошло с того рокового дня и когда с каждым днем утрата становится для нас все чувствительнее, мое единственное утешение в том, чтобы говорить о нем, вновь вспоминать все его слова, так хорошо запечатлевшиеся в моем сердце и дающие представление о чувствах, которые питала эта ангельская душа. Начну с минуты нашего приезда сюда. Мы прибыли 30 мая в 5 часов утра в самую прекрасную погоду. Едва поднялись мы на гору, как нас поразил и остановил вид многочисленных кустов, покрытых великолепной сиренью, особенно тех, что растут справа от дома и тех, что под окнами дядиного кабинета. Восхищаясь всегда могуществом Создателя, проявлявшемся даже и в самом маленьком атоме, дядя был растроган и казался помолодевшим, радуясь вместе с нами этим очаровательным кустом. Он приближался к ним несколько раз, заставляя нас рассматривать красоту и размеры цветков, темную зелень листьев, которые выделялись своим здоровьем и вообще были такие сильные по сравнению с сиренью, которую мы оставили в нашем саду в Петербурге. Мы вошли в комнату, чтобы снять наши шляпы, но утро было столь великолепным и мы были так счастливы дышать благоуханным деревенским воздухом, выехав

из Петербурга, что через мгновение все оказались в саду. Глаза потянулись к нашим дорогим деревьям, но каково же было наше удивление! Ни одного цветка! Зеленые майские жуки, очень крупные и в великом множестве набросились на дорожку нам сирень и поглотили ее. Прекрасный цвет, которым так недавно мы все восхищались, стал красноватым и совершенно поблекшим; это всех нас удивило и опечалило. *«Знать, сглазили»*, — сказал мой дядюшка, и с грустным сердцем от потери наших красивых цветов мы вернулись к завтраку, а в это время мерзкие майские жуки, сделав свое дело, вдруг снялись в полет и исчезли. За завтраком это странное явление природы, впервые случившееся в Званке, стало предметом всеобщего разговора. Александрина Дьякова<sup>VII</sup> сочла его дурным предзнаменованием, я это встретила почти с юмором, не желая связывать такую черную мысль с простым событием.

Так как мои дядя и тетя чувствовали себя усталыми и захотели немного отдохнуть до обеда, мы поднялись наверх, побыли там некоторое время и спустились только к обеду. Как только стол был убран, погода переменилась, поднялся страшный ветер, который сделал Волхов ужасным, разразилась сильная гроза с частыми вспышками молний. В пять часов пополудни управляющий пришел сказать, что возле Верочкина вяза четыре женщины сражены молнией, что одна из них только что принесена без признаков жизни, две другие без сознания, но еще дышали, а у четвертой рука и нога обожжены и отшибло слух. *«Как нынешний год наш приезд несчастлив»*, — сказала тетя; каждый из нас также подумал, не осмелившись это высказать, как и я не считая возможным говорить в подобной ситуации о том, что думает. Но и это опечалило нас не более чем наши зеленые майские жуки и чем то, что доктор не ручался за жизни других женщин, хотя они еще дышали. Представление об отчаянии этих четырех семей, мысль о смерти, такой близкой от нас и такой далекой сделали наш вечер серьезным, но — буря успокоилась, появилось солнце, высушило ступеньки, и мой дядя, как и мы, усевшись на них, наслаждался прекрасным видом Званки, который дарил такое спокойствие. *«Как здесь хорошо!»* — часто повторял он, глядя на проходившие по реке парусные суда. — *«Не налюбуюсь я на твою Званку, Дарья Алексеевна, прекрасно, прекрасно»*, — и, повторяя это несколько раз, он принимался напевать любимый им марш Безбородки.

Наш образ жизни вошел в свой обычный ритм; эта жизнь такая сладкая, когда каждый день похож на тот, что был накануне, и так все дни. Дядя заставлял меня читать вслух час поутру и час же или два после обеда; это были то газеты, то история Ролленя в переводе ТрEDIAKовского<sup>VIII</sup>, ужасный стиль которого заставлял его часто

смеяться и часто пожимать плечами, предсказывая мне, что еще немножко, и я вывихну себе челюсть. Чтобы скрасить серьезность и трудность этого произведения, после полудня я читала поэму Хераскова «Бахариана»<sup>IX</sup>, сюжет которой был взят из различных русских сказок, настоящая смесь Бог знает чего! Бесчисленное множество привидений, превращений, несколько очень хороших, по мнению дяди, описаний не переставали его развлекать разнообразием. Поскольку мы читали только одну песнь каждый день после обеда, он не слишком уставал. *«Экой бред! — говорил дядя, — однако забавно, стихи гладки, описания природы хороши, и к тому же так хитра завязка, что хочется все конца дознаться»*. И потом происходили такие забавные вещи, что он смеялся от всего сердца; тетя тоже обратила внимание на наше чтение, и добрый мой дядюшка, поворачиваясь то к ней, то ко мне, улыбался нам обеим. Мне кажется, что я и сейчас еще вижу его ангельское лицо, когда он сидел среди нас на красном диване, всегда с Тайкой за пазухой, то слушая мое чтение, то раскладывая большой пасьянс. Я представляю, как он шагает по комнатам или объясняет нам различные места священного писания, упоминая самых замечательных толкователей его. Тогда глаза его сияли ярким блеском, чувства придавали ему силы; часто это оживляло его, он становился красноречивым, убедительным, в глазах блестели слезы и вся его душа в них отражалась. Три темы только могли произвести этот эффект в нем: когда речь шла о Боге, об истине и о поэзии. Любил он также говорить о царствовании Екатерины II. Это была пора его молодости, когда его одаренное воображение всей силой своей заполняло жизнь соблазнительными иллюзиями. Он говорил мне о славе России во время ее царствования, о великих людях, прославивших ее, о своих первых лирических опытах, которые без его ведома были представлены Императрице и вызвали у нее желание его увидеть. Ее прием, который был ему оказан, этот взгляд, которым она окинула его с головы до ног, чтобы рассмотреть того, кто, как она выразилась, «так хорошо ее знал». *«Я вовек этого взгляда не забуду, — говорил добрый дядя, — Я был молод, ее вход, величие окружающее, этот важный царский взгляд — все меня так поразило, что она мне казалась существом сверхъестественным, но теперь, как все это поразмыслю, то должен сознаться, что была она большая комедиантка и знала, как людям пыль в глаза пускать»*.

Желая продолжить объяснения, которые он сделал на четыре первых тома, он заставил меня читать пятый, только что отпечатанный. После того как мы этим некоторое время занимались, он сказал мне: *«Эта часть как-то скукой пахнет и напоминает то время, в котором она писана была, или просто сказать, оттого, что*

я стар стал». Мой зять Воейков, вернувшись из Тамбова, привез нам книгу, которую очень хвалил. Дядя ее читал, да забыл, это было объяснение литургии<sup>X</sup>. Он захотел ее перечитать, взял свою лупу (так как зрение его ослабло в последнее время) и позанимался этим какое-то время. *«Я так устал,— сказал он мне. — Паша, почитай мне вслух, но не торопись, ты плохо договариваешь окончательные слова, а я и совсем плохо слышу»*. Часто прекрасная погода прерывала наше чтение и приглашала выйти из гостиной и сесть на ступеньках. Зная, что ему доставляло удовольствие слышать, как мы с Александриной поем, я брала арфу и мы пели вместе *«Вошел в шалаш мой торопливо»*,<sup>XI</sup> и он одновременно восхищался природой, спокойствием Волхова, в котором, как в зеркале, повторялся окружающий пейзаж, или считал на пальцах стопы стихов, которые сочинял в это время.

Раз утром (я думаю, что 1 июля), когда дядя слушал как я читала объяснение литургии, которое доставляло ему много удовольствия, мы дошли до места, где говорилось о благоговении, с каким все присутствующие должны это место слушать, когда любое земное чувство должно исчезнуть и уступить место бесконечной признательности за все милости нашего Господа, который пожертвовал собой, чтобы обеспечить нам вечное спасение, думать о жертвоприношении, которое совершается на алтаре во время литургии, вслушаться во все молитвы, живо в них проникнуть, так, чтобы стать бесстрастным, когда никакая земная привязанность не отвлекает нас от молитвы. *«Как это трудно,— говорил дядя. — Как часто во время службы о молитве и не думаешь, правда, иной раз сердце разогреется, слезы брызнут от восторга, кажется, как бы искра Господня заронила в душу, встухнет, но потом суета мирская займет собою и искра эта божественная совсем потухнет. Я в таком восторге, стоя у заутрени на святой праздник, написал первую строфу оды Бог. Слезы катились градом, и с чувством, исполненным благодарности, я написал то, что сердце мне сказало»*. Говорил он мне это с выражением уверенности во всех словах. Глубоко взволновавшись, он прервал мое чтение и принялся ходить взад и вперед по комнате; я села за пианино и заиграла Анданте принца Людвига Прусского<sup>XII</sup>. Эта нежная музыка, которая носит отпечаток меланхоличности, понравилась моему дяде, он подошел к пианино. *«Что такое ты играешь?»* — спросил он меня. Я назвала ему автора. *«Как эта музыка мне нравится, гармония такая тихая, унылая, видно, принц Людовик был меланхолик, это заметно по его музыке»*. Мы об этом долго разговаривали, я рассказала, как жалели о принце, который умер совсем молодым, лучшие музыканты; он слушал меня с интересом, потом попросил снова сыграть Анданте.

Я его играла еще много раз после обеда, в то время, когда он раскладывал свой большой пасьянс. «*Прекрасно, прекрасно*», — повторял он, проходя мимо меня в свой кабинет на послеобеденный отдых. Мы шли наверх, работали и читали до его пробуждения. Узнав, что он встал, мы спускались, чтобы провести остаток вечера с ним и тетей. Едва увидев, как я вхожу, он сказал мне: «*Представь себе, твоя музыка мне так понравилась, что я сейчас видел во сне твоего принца Людовика и с ним об ней говорил*». Все это доставило мне удовольствие, однако дядя не выглядел веселым и, чтобы его развлечь, я предложила ему почитать что-нибудь из его пятого тома. Он выбрал маленькую оду в греческом стиле (как он сказал), озаглавленную Полигимнии, вымышленное имя для означения девицы Стурдзы<sup>XIII</sup>, которая очаровала его на вечере у мадам Свечиной, прочитав в совершенстве оду «Бог». Мы вышли из комнаты, так как дядя пожелал немного погулять по саду и подняться на вершину холма, который находился слева от дома и вид которого так красив. Там мы встретили мою тетю. Она указала ему, что все деревья, посаженные ими, так хорошо принялись, что и любимой его бани стало не видно. «*Все это хорошо, прекрасно*, — сказал он ей — *но все это что-то меня не веселит!*». Когда через несколько минут тетя нас оставила, он, не стесняясь больше, стал говорить: «*Я стар стал и кое-как остальные деньки доживаю*». Это испугало меня, я ласково взяла его за руку, говоря, что его меланхолия происходит, быть может, от состояния его здоровья. «*Нет, благодарить Бога, я сегодня здоров*», — он тотчас же вернулся и принялся за свой большой пасьянс. 3 июля, день его рождения, приближался. Семен Капнист<sup>XIV</sup> прибыл накануне, чтобы провести его с нами. Это доставило удовольствие дяде, он расспрашивал его о политических новостях, о том, что говорят в Петербурге, и, услышав, как много недовольных и ропшущих, выразил удовольствие, что его там нет: «*Живем мы здесь спокойно*, — сказал он — *и долго меня в Петербург не заманют*». Тетя послала за священником, чтобы читать вечерние молитвы и «Тебя, Боже, славим», дядя чувствовал себя прекрасно, и мы просили Бога, чтобы он подольше оставался в таком состоянии. Сам он, стоя у двери в гостиную, молился с тем выражением спокойствия и покорности, которое всегда снисходило на него во время молитвы. Тайка, лежащая возле него на подушечке, привыкла не уходить, пока священник был там. Когда молитва закончилась, мой дядя пригласил священника попить с нами чаю, говорил о хлебе, об урожае, который, как он надеялся, будет хорошим, спросил, когда граф Аракчеев ждет к себе Императора и услышал, что это будет 8 или 9 сего месяца.<sup>XV</sup> Время пребывания моего кузена Семена у нас прошло очень приятно, он заменил меня



на некоторое время в чтении, а в промежутках мы совершали прелестные прогулки. Однажды, это было 4 июля, Семен предложил нам пойти в Дымну. День был прекрасный, и так как все утро он был занят с дядей, то на эту прогулку было оставлено послеобеденное время. Мы уже весело тронулись в путь вдоль реки, как вдруг прибежал один из слуг дяди, остановил нас: *«Дяденька вас зовут»*, — сказал он. Мы повернули обратно, сожалея, по правде, что прогулка не состоится, что ее придется отложить. Мы пришли к дяде. *«Куда это вы собрались?»* — спросил он меня. *«В Дымну, дяденька, брат Семен там не бывал»*. — *«Так и быть, другой раз побывает, а теперь, Семен Васильевич, возьми-ка ты книжку, да почитай мне; а вы мои голубушки, садитесь»*. Мы, с вытянутыми минами, устроились вокруг его стола, и через минуту разразилась страшная гроза с проливным дождем. Он, улыбаясь, проговорил: *«Хорошо же, что я вас вернул; посмотрите, какая погода, вы бы все перемокли, перепростудились, занемогли бы, чего нет, перемерли, может быть, смотрите, от скольких бед я вас избавил»*. Мы от всего сердца смеялись при этом перечислении внезапных несчастий, которые его предусмотрительность отвратила от нас, вечер прошел весело, и закончился день, счастливый и спокойный.

В среду, 5 июля, дядя, встав, почувствовал себя плохо и за завтраком сказал нам, что у него небольшие спазмы в груди, которые сопровождаются легким жаром: *«Почувствовал я жар и пульс поднялся, вот тут забилось»*, — прибавил он, положив себе пальцы на виски. Это встревожило тетеньку, так как он очень редко жаловался на спазмы, и она тотчас же принялась уговаривать его быстрее ехать в Петербург. *«И, вздор какой, матушка. К чему это в Петербург? Стоит ли того?»* — ответил он ей, принявшись говорить с Семеном и не захотев больше об этом слышать. День прошел спокойно. Он был прекрасен. Моя тетья на крыльце восхищалась спокойствием реки, кораблями, которые тихо проплывали и почти не волновали поверхность воды. *«Мамочка, поди-ка ты к нам, — крикнула она ему в гостиную, — Посмотри, как здесь хорошо»*. Он тихо поднялся и побрел было к нам, но, найдя, что время уже позднее и опасаясь охладиться, тотчас же воротился и сел к своему столу. Я осталась на улице, но через окна видела его спокойно сидящим и раскладывающим свой большой пасьянс. Вдруг я заметила перемену во всех его чертах, он потер грудь и лег на спину. Тетья быстро вышла из гостиной, чтобы предупредить врача; едва она вышла, как я услышала, что дядя закричал, он запрокинул голову и все черты его выражали самую острую боль; я подошла к нему, потеряла ему грудь, он продолжал стонать, прибежал врач, натер его нашатырным спиртом, положил ему на желудок мешочек отрубей. Боль мало по малу утихла и через несколько минут не беспокоила его. Он

захотел только пойти отдохнуть и заснуть ненадолго в своем кабинете. Его страдания, которые мы видели, крики, которые мы слышали, потрясли нас, и мы долго не могли прийти в себя. С большим основанием моя тетя очень испугалась. Дядя уснул спокойно, и тетенька побывала еще на крыльце, где были мы с Семеном. Хорошая погода, как и спокойствие, в котором мы пребывали за какую-то минуту до этого, сменилась огромными облаками, которые разразились дождем и заставили нас искать убежища под колоннами крыльца. Беспокойство, которое испытывала моя бедная тетя, оставило на ее лице не свойственный ей оттенок печали. *«Какой на нас на всех черный год,— сказала она. — Куда ни обернешь, везде горе. И Лиза Ганичку схоронила<sup>XVI</sup>, Нилов в петлю лезет, Бакунины разорены, вот, боже мой, и у нас горе»*. Она сказала это тоном таким горестным, что слезы потекли невольно. *«Наше горе, тетенька, Бог обратит»*. — *«Ах, конечно! — промолвила она, как будто испугавшись того, что произнесла раньше. — Нет, непременно надо его уговорить ехать»*. Мы с Семеном хотели присоединить к этому и наши просьбы, когда дядя проснется, надеясь, что он на это согласится ради спокойствия моей тети. Она вышла посмотреть, не проснулся ли он. Оставшись одна, я не смогла больше сдерживаться и принялась рыдать, в то же время пугаясь своих слез, ведь дядя чувствовал себя хорошо и спокойно спал, а моя боль была такой горькой. Нас пришли предупредить, что он проснулся, чувствовал себя хорошо и зовет в свой кабинет, чтобы сыграть партию в бостон. Едва мы собрались, как сразу же принялись просить его покинуть Званку, чтобы поехать проконсультироваться в Петербург, он твердо решил, что этого не хочет. *«Просто напишу Роману Ивановичу Симп[н]сону,<sup>XVII</sup> опишу обстоятельно свою болезнь. Завтра Семен Васильевич поедет, сам ему записочку мою свезет, пополнит ее тем, что сам видел, и коль тогда Симпсон почтет нужным мне приехать, в чем однако, очень сомневаюсь, тогда и поедем, что мне делать в Петербурге?»*. Опасаясь рассердить его настойчивыми просьбами и доставить ему еще большие страдания, мы замолчали и бостон начался; он пришел в свою обычную веселость и смеялся над нами, Семеном и мной, что мы вечером едим так много фруктов. Он шутил в продолжение всей игры, после чего велел позвать Абрамова<sup>XVIII</sup> и продиктовал ему свое письмо к Simpson; мы были так успокоены на его счет, что очень смеялись над содержанием письма, в которое он включил очень обстоятельные детали, сам смеясь этому. Прохаживаясь по кабинету, он диктовал, полагая все же, что спазмы могли быть из-за желудка и что он привык почти каждое лето принимать рвотное средство, которое ему помогало; он решил принять его за обе щеки; иногда ему казалось, что причиной спазм был вновь начавшийся геморрой, который, время от времени

причинял ему страдания. Вечер закончился, мы разошлись веселые и спокойные, особенно таким казался мой дядя; наверное для того, чтобы придать нам мужества, он утверждал, что, приняв рвотное усталый, «он вострепнется молодцом» на следующее утро. 6 июля Семен уехал. Он имел разрешение пробыть у нас всего лишь несколько дней; тем более он видел, что мы успокоились насчет состояния дяди, который в это же утро принял легкое лекарство, чтобы подготовиться к своему рвотному, и не жаловался ни на какие недомогания. В этот же день после обеда мой кузен показал мне четыре прекрасных стиха, которые заканчивались так: «Il est grand[e], il est beau de faire des ingrats<sup>XIX</sup>». В этот момент вошел дядя и, к моему великому удивлению, я услышала, как он наизусть читает эти самые четыре стиха. Я не могла удержаться от улыбки, потому что впервые слышала, что он декламирует французские стихи. Он сказал, что давно их знает. *«Тут очень тонкая философия»*, — он хотел нас поправить в произношении стиха, сказав: «Il est beau, il est grand[e] de faire des ingrats», — полагая, что здесь должна быть рифма. В пятницу, 7 июля, он пришел к общему завтраку, поел с большим аппетитом, но, вспомнив о своих спазмах, решил принять рвотное на другой день натощак. Тут же он велел мне взять том «Всемирного путешественника», книги, которую я называла «Вечный путешественник», так как мы прибегали к ней всегда за неимением другого чтения, и которая очень развлекала моего дядю. Мы добрались до описания Англии, где говорилось о различных обществах, которые были в Лондоне, о нравах и обычаях, о характере нации. *«Ну как же ты можешь этой книги не любить?»* — сказал он мне, — *«Сколько тут любопытного, и у кого память хороша, сколько пользы прочесть ее, но я что прочел, то забыл опять, за новое читаю»*. Дойдя до места, где говорилось об обществе толстяков, он очень развеселился. Это было братство, в которое принимали только прошедших через очень широкую дверь. *«Ну, мой друг, мой любезный Бахтин<sup>XX</sup>, конечно, принят был бы в то общество»*. Он его называл «мой любезный» потому, что каждое воскресенье я приходила взять его под руку, чтобы пойти к обеду, потому что он жаловался, что его возраст и большая полнота мешали ему подойти вовремя, чтобы предложить руку мне. Наше чтение было закончено, я поднялась к себе, дядя ушел в свой кабинет. Все наши дни походили один на другой; час или два чтения утром, потом обед, потом его послеобеденный отдых, потом вновь чтение до бостона, который прерывался ужином, — и день спокойно заканчивался. Часто мой дядюшка завершал его, повторяя свои прекрасные стихи:

Блажен, кто поутру проснется  
Так счастливым, как был вчера.<sup>XXI</sup>

В тот послеобеденный час при моем чтении случилось незначительное событие, которое возбудило во мне какие-то предчувствия, напомнив об увядшей сирени, о четырех женщинах, убитых возле дома в день нашего приезда. Итак, я читала дяде и несколько раз услышала, как скрипит пол; я не суеверная и не придавала этому шуму никакого значения, но когда я услышала, что он повторяется неоднократно, вспомнила, что кто-то говорил, что это плохой признак и *значит, что хозяев выжидают*. Я сделала вид, что не слышу, и продолжала чтение, повысив голос, но шум опять повторился. «*Слышишь ли, Паша, как пол трещит?*» — сказал он мне. «*Слышу, дядинька*». Я тотчас подыскала (ради собственного удовлетворения и чтобы успокоить его) объяснение этому шуму. Я ему сказала, что шум происходил, вероятно, оттого, что бюсты Императора и Императрицы, которые до этого были поставлены в двух углах комнаты, были переставлены к канапэ и что пол, не имея больше веса в этом месте, естественно, трещал. Не знаю, был ли этот довод хорош, но мне он показался достаточным, чтобы отогнать любую другую мысль из моей головы и особенно из головы моего дяди, из-за опасения, как бы он не придал этому пустяку какого-нибудь значения. «*Нет, мой друг,* — ответил он мне. — *Это трещит не по углам, а подле самых мраморных столиков, и мы сегодня перед обедом слушали все это с Дарьей Алексеевной, она и причину тому искала*», — и не добавил, нашла ли ее.

И наступил тот ужасный день, за которым последовала эта страшная ночь, которая навсегда разлучила нас с моим добрым дядей. Однако начало его было полно счастья и радости для нас. Дядя, поднявшись рано, принял свое рвотное, которое, произведя наилучший возможный эффект, освободило его от избытка пищи и от этой тяжести и явной слабости, на которые он жаловался накануне. У него не было ни малейших спазм, так что, придя к завтраку, он сказал нам с сияющим видом: «*Ну, слава Богу, мне после рвотного стало гораздо лучше*». Обрадованная этим известием, я поспешила сообщить об этом своим сестрам, зная, что накануне они беспокоились о состоянии здоровья моего дядиньки. Это письмо должно было уйти на другой день, и это завтра должно было принести такие жестокие изменения в нашу Званку, недавно счастливую. Я его переписываю, это письмо, потому что оно говорит о дяде; оно может потеряться, а все, что касается его, все становится теперь драгоценным.

Званка. Суббота, 8 июля 1816.

*Полагая, друзья мои, что вы должны быть беспокойны насчет здоровья дявеньки, спешу вас уведомить, что ему теперь лучше, сегодня принял он рвотное, которое сделало ему большую пользу и уменьшило боль в груди.*

В этот момент мне пришлось сказать, что дядя ждет меня; «Это чтобы читать» — сказала я Александрине и, взяв мою большую подушку, чтобы поработать после чтения, я спустилась.

Войдя в гостиную, я положила мою работу, взяла «Всемирного путешественника» и хотела читать, но он меня тотчас прервал: «*Не я тебя звал и не для того, чтобы читать, а вот кто изволил тебя спрашивать*», — сказал он, указывая на двух маленьких птичек, которых с месяц тому назад моя тетя взяла из гнезда и которые так освоились, что клевали из моей руки; стоило мне опуститься на пол, то тотчас же эти проказницы с высоты люстры спускались, чтобы поклевать хлеба с молоком, который был им приготовлен. Это забавляло моего дядю. «*Давно они уже тебя кликают*, — сказал он мне. — *Смотри, вот она на люстре*». Я взяла их еду и положила на пол так, чтобы он мог меня видеть. Они тотчас же прилетели, он улыбнулся, и, казалось, ему нравилось смотреть на эту сцену; рассеявшиеся птицы взлетели, а он сказал мне со своей обычной добротой: «*Впрочем, мой друг, ежели тебе не скушно, то почитай мне*». «*Я с удовольствием читать стану, милый дядинька*», — ответила ему я и сразу же взяла книгу. Тетя, присутствовавшая при этом, поцеловала его несколько раз и ушла заниматься своими делами, я же читала до обеда. У дяди проснулся аппетит, и он тоже попросил обеда, но врач этому воспротивился, напомнив, что он принял утром рвотное, что желудок нуждается в отдыхе и что обедать должно лишь вечером. Более того, моя тетя заметила, что, несмотря на это, желудок у него еще был жесткий и переполнен, он ей ответил, улыбаясь: «*Это тебе, матушка, кажется*», — но согласился не обедать, заказав себе хорошую уху на 8 часов вечера. Вскоре после нашего обеда он сказал, что снова немного стали появляться спазмы, из чего заключил, что они происходят не из-за желудка, и что он смог бы без риска поесть супа; его доктор опять этому воспротивился. «*Хорошо тебе, братец*, — ответил он ему, смеясь, — *с полным брюхом мне есть запрещать, мой-то ведь пуст и есть просит*». Спазмы начались снова, но очень легкие, и так как он долго спал утром и не обедал, то остался в гостиной раскладывать пасьянс. Поскольку мое письмо не было закончено, я попросила остаться Александрину Кожевникову и, сказав дяде, что вернусь, принялась рассказывать сестрам в письме, что спазмы уменьшились, но тем не менее он жаловался на легкое удушье в груди: «*Теперь, друзья мои*, — писала им я, — *я беспрестанно с дядинькой, опять всемирный, вечный путешественник засыпляет его, потом бостон целый вечер, хоть и не совсем весело, но, слава Богу, что дядинька чем-нибудь заняться может, это знак, что ему лучше, а, право, после этой передраги (такой сильный приступ спазм) так тяжело было нам всем, что теперь кажется и весело и хорошо*».

Было уже около 7 часов вечера, когда я писала это письмо, оно доказывает, как мы были успокоены. Александрина<sup>XXII</sup> сказала, что в мое отсутствие тетя принесла особые маленькие булочки к чаю, которые она велела испечь к его празднику, они были на масле и дядя их очень любил. Намереваясь их попробовать, он дотронулся до одной и улыбнулся тете: *«Ну, благодарствуй, матушка, что эти булочки спечь приказала, — сказал он, — в мои именины мы ими будем гостей подчивать, вот добрая, знать, жена, что наперед о мужниных именинах помнит»*. *«Мамичка, — сказала она, — и эти булочки не для тебя; ты знаешь, и они тебе вредны»*. *«Знаю, ответил он ей, — и это для гостей»*. В этот момент вошла я, и почти тотчас же князь Шихматов и его зять молодой Тырков<sup>XXIII</sup> приехали к нам. Дядя отдыхал в это время в гостиной на красном сафьяновом диване; он усадил князя рядом с собой, поговорил с ним о разных вещах и, снова попросив есть, получил в ответ просьбу подождать немного, повернулся к князю: *«Ну посмотри, братец, что за жистье, есть не дают»*. Он сказал, что мы все были в заговоре с тетей, чтобы мешали ему есть. *«Помнишь ли, — сказал он мне, — петербургские ерши?» — «Помню, дяденька», — и я рассказала князю, что, уезжая в Званку на несколько дней, моя тетя поручила мне заботы по хозяйству, и особенно о строгом наблюдении за диетой моего дяди. Однажды за завтраком он сказал мне, что дома обедать не будет, так как обещал графу Пушкину обедать у него: «А тебе, чтоб не скучно было, то забезу тебя к Лизе, а вечером приезжай часу в десятом», — так мы расстались. И действительно, днем его не было, но, вернувшись домой на час раньше, чем обещал, он тотчас же заказал суп. «Скажите, чтобы поторопились ершей сварить», — сказал он моим кузинам Капнист, — чтобы мы успели поужинать до Пашиного приезда». Рыба была тотчас же куплена, сварена и принесена в гостиную. Едва мой дядя сел за стол, как я, словно тень, появилась перед ним. «Эка злодейка, без себя и поужинать не даст. Я так торопился, а она как сон в руку». То, что он намеревался съесть, было слишком безобидно, чтобы повредило его здоровью. Боясь его рассердить и сделать ему еще хуже, я поцеловала ему руку и просила только не есть слишком много. Князь Шихматов и молодой Тырков были еще здесь, когда один из музыкантов принес подстреленную им дичь. Дичи было много, и дядя велел его позвать. «Спасибо, Андрей, что так много дичи принес. Матушка, — сказал он, обращаясь к тете, — дай ему пять рублей; да нее забудь же, а дичь ту мы с соседями поделим, прикажи с князем отпустить половину». Потом, вспомнив об охотнике, он сказал: «Хорошо, Андрей, что много принес, но экономию надо знать; будет ли у нас дичины к моим именинам, а то всю перестреляешь, а тогда*

*гостей будет много, было бы чем подчивать». «Будет, сударь», — ответил он ему. — принесу больше того», — он его отослал, напомнив тете о деньгах, которые ему обещал. Наши гости покинули нас, и мгновение спустя дядя попросил супа.*

Было 8 часов вечера, рвотное произвело хороший эффект, но не избавило полностью от спазм, дядя хотел нам доказать, что это происходило не из-за желудка, и велел принести суп. Он нашел его великолепным и, невзирая на наши просьбы, съел две тарелки, в которых размочил много хлеба. Не осмеливаясь прикоснуться к рыбе, но находя ее очень по вкусу, он предложил нам, тете и мне, съесть ее вместо него, мы предпочли чай, который и был нам подан. Едва он съел последнюю ложку супа, как сильная дрожь охватила его, ногти у него почернели, и тетя, испугавшись, побежала уведомить доктора,<sup>XXIV</sup> тот пришел, попытался нас успокоить, сказав дяде, что принесет ему шалфея с какими-то каплями, что это заставит его пропотеть, советуя ему, тем не менее, лечь в постель, чтобы облегчить дыхание. Выходя, он сказал горничной, которая прислуживала за чаем, что этот внезапный приступ жара тотчас же после обеда очень его испугал. Мы об этом тогда ничего не знали, и дядя, несмотря на озноб, сохранял обычную шутливость. Он был еще в гостиной, когда врач пошел готовить шалфей; принесли чай. Горячо желая видеть его избавленным от боли, я спросила тетю по-французски, не добавить ли в чай чуточку рому, чтобы немного согреть дядю, который употреблял его очень редко. Я спросила это по-французски, чтобы дядя меня не понял. Если моя тетя нашла бы в этом что-нибудь вредное и это бы пришлось не по вкусу, я жестоко упрекала бы себя в своей бестактности. Тетя, подойдя ко мне, сказала: *«Мамочка, вот Паша вздумала, не лучше ли тебе выпить чаю с ромом, чтоб скорее согреться, вот и чай стоит».* *«Пожалуй»* — ответил он ей, но тут вошел доктор и категорически этому воспротивился, сказав, что шалфей будет более эффективным, и сам побежал за ним. Дядя улыбнулся: *«Как всякий человек самолюбив, — сказал он нам, — Всякий думает, что свой совет лучше. Паша, ведь тебе очень хочется, чтобы я выпил чаю с ромом, да и я на то согласен, оно скорее, а мой эскулап и слышать об этом не хочет оттого только, что не он, а ты это предложила».* *«Я это для того только предложила, милый дядинька, чтобы скорее согреться вы могли»*, — сказала я, целуя его в плечо, но его озноб все возрастал. Была уже половина десятого, он решил пойти лечь, вошел в свой кабинет, чтобы почитать вечерние молитвы, и, пройдя в спальню, лег в постель. Тетя вернулась, так как мы все собрались в столовой, и успокоила нас, сказав, что озноб уменьшился. Ужин был подан, и, уже успокоившись немного, тетя велела нам садиться за стол, но сама она не была голодна и решила вернуться к дяде. Поужинав,

мы вернулись на диван, который отделен от спальни лишь маленькой дверью. Александрина Дьякова, видя, что мы только втроем, не опасаясь высказала свое мнение о беспокойстве, которое испытывала тетя при малейшем недомогании моего дяди, что в его возрасте любые болезни могут быть смертельными. Я восприняла это с грустью, говоря, что у нее всегда черные мысли и что она так холодно говорит о смерти. «Милая, — сказала я, когда очень любишь человека, то чем он старше, тем больше опасаясь не только говорить о смерти, а даже о ней думать». «Ну, по-моему, — возразила она, — это глупость, из-за этого не умирают». Мы еще разговаривали, когда я услышала стоны. «Снова начались спазмы», — сказала я своим кузинам и вне себя побежала в спальню, вошла туда. В это мгновение я увидела тетю, выходящую с искаженным лицом. «У него тоска несносная, — сказала она, — он бредит», — она принялась ходить, ломая себе руки. Войдя в спальню, я подошла к дяде; он пришел в сознание, но очень жаловался: «Ох, тяжело, ох, тошно, Господи, помоги мне, Господи, помоги мне, грешному... Не знал, что будет так тяжело — Так надо!... Господи, помилуй меня, прости меня». Вот что я слышала. Эти слова разрывали мне сердце. «Так надо, так надо, — снова с интервалами повторял он, — не послушал», — разумея, вероятно, суп, который тетя просила есть поменьше. Его жестокие спазмы возобновились сильнее, чем всегда, он метался в кровати, стонал, ломал от боли руки. Напрасно ему прикладывали горячие полотенца, натирали его спиртом, ничто ему не помогало. Врач полагал, что горчичник, поставленный на область желудка, снимет боль или, по меньшей мере, отвлечет от боли; ему поставили один, он успокоился, на какое-то время его кроткое расположение духа тотчас возвратилось. «Вы отужинали?» — спросил он, увидев меня возле кровати. «Отужинали, бесценный дядинька», — ответила я. «Больно мне, что вас всех так взбудоражил, без меня давно бы все спали». Я побежала к тете сказать, что он успокоился, так как у нее не было больше сил его видеть. Она вошла и, приблизившись к нему, попросила не откладывать больше отъезд и разрешить все подготовить к завтрашнему утру. «Зачем мне ехать? — ответил он ей. — Бог даст, все пройдет». «Нет, мамичка, для моего спокойствия поедем». — «Ну, пожалуй, коль непременно ты хочешь и что мне лучше не будет, то завтра поедем». Довольная тем, что он согласился на отъезд, тетя вышла сделать наспех необходимые распоряжения; мы должны были ехать на другой день рано утром. Оставшись в комнате, я слышала, как доктор спросил, произвела ли горчица свое действие? «Уж не только щиплет, — ответил он, улыбаясь, — а просто кожу дерет, но я этой боли рад супротив той-то. Слава Богу, теперь отдало». При этих словах радость появилась на всех лицах, но, увы, она была недолгой. Опять наступил



ужасный момент. Он снова начал жаловаться, метаться на кровати от приступа спазм, которые возобновились с такими сильными болями в сердце, что, казалось, они его задушат, и только рвотное могло его от них избавить. «*Ох тяжело, ох тошно,*— закричал он снова. — *Господи, помоги мне*». Потом, обращаясь к Максиму Федоровичу<sup>XXIV</sup>, «*Дайте что-нибудь, чтоб меня стошнило, меня только тянет, а поднять не может. Ох, тяжело, прости мне, Господи*». Эти слова смешивались со стонами такими глубокими, что они разрывали сердце. Ему дали ромашку — в надежде, что она поможет ему вытошнить пищу, которую его желудок не мог переварить, он выпил несколько чашек, которые только увеличили его стеснение в груди и жестокие, измучившие его, рези. Видя столь тяжкие страдания того, кто был нам так дорог, и не имея возможности избавить его от них, я, со сжавшимся сердцем, побежала броситься на колени перед маленькой иконой, которую заметила в гостиной. Там, одна перед моим Богом, я больше не пыталась силой успокаивать свое сердце и разразилась потоками слез. «*Помоги ему! Исцели его, Господи!*» — вот что самая глубокая боль заставила меня сказать. Молитвы не успокоили меня; я поднялась такой же безутешной, какой была до этого. Я не почувствовала никакого утешения, которое поддержало бы меня в моем горе надеждой, что мои молитвы были услышаны, я побежала к моей бедной тете, от нее к дяде, его я нашла в том же состоянии, его сердечные боли не стали слабее, а стоны не стали менее ужасными. Доктор потерял голову. «*Не дать ли ему еще одну ложку рвотного?*» — спросил он меня. Это решение казалось разумным. Я побежала к тете, так как доктор не хотел ничего предпринимать без ее согласия, обрисовала ей состояние моего дяди. Она решилась на ложку рвотного. «*Дать ложку*» — сказала я, входя, — *Тетинька приказала*. «*Боюсь я, сударыня*», — сказал он, набирая ложку. «*Чего вы боитесь?*» — спросила его я, не подозревая даже, чего он опасался; Мысль о смерти была так далека от меня, и желание ему помочь было единственным чувством моего сердца. Принятое рвотное быстро произвело свое действие, и он вытошнил весь хлеб, который съел с супом и который его желудок не мог переварить; я побежала сказать об этом тете, она выслушала меня с минутным удовольствием. «*Нет,*— сказала она, — *все еще желудок у него полон*». Вернувшись в спальню, я села справа от его кровати, откуда могла его видеть, хотя издали. Он меня заметил. «*Это она*», — сказал он, обращаясь к слуге. «*Прасковья Николаевна*» — ответил Кондратий. Я подошла к нему, он протянул мне руку. «*Тяжело мне было, очень тяжело,*— сказал он мне, — *но теперь, слава Богу, легче*. Он пожал мне руку, я поцеловала его ладонь, повторяя за ним: «*Слава Богу*». Его вытошнило еще, почти без усилий; он велел Александрине Дьяковой показать тазик тете, которая вы-

шла из комнаты, чтобы успокоить ее. «*Который час?*» — спросил он меня. «*Второго половина*», — ответила я. Доктор посоветовал ему повернуться, чтобы его могло легче вытошнить, поскольку он лежал на правом боку, а тазик находился слева. Он поворачивается, наклоняет голову и начинает тотчас же хрипеть. «*Боже мой, что это такое?*» — вскрикнула испуганная Александрина. «*Это обморок*, — ответила я ей, — не шуми, это пройдет». Я была убеждена в этом, вспомнив похожий обморок, случившийся с моей няней, как она хрипела, потеряв сознание, но, придя в себя, выздоровела. Воспоминание придало мне силы, которые, казалось, все потеряли; я велела доктору дать ему подышать какой-нибудь соли, потеряв виски, будучи твердо убеждена, что он придет в себя. Он перестал хрипеть, наступила тишина, все казались озадаченными. «*Дышит ли он еще?*» — спросила Александрина. «*Надеюсь, что дышит*, — ответила я нетерпеливо, — я говорю тебе, он в обмороке, слишком слаб, чтобы перенести такую дрожь». Александрине стало плохо, я отвела ее в кабинет тети, уложила и тотчас же вернулась. Стояла пугающая тишина. «*Господи, Боже мой, дай мне услышать его вздох*», — сказала я про себя, глядя на икону Богородицы, которая была в комнате, и, не смея дышать, прислушалась к тишине. Он приподнялся немного и испустил глубокий и долгий вздох, я перекрестилась из чувства признательности и в надежде увидеть, что он откроет глаза. Больше я ничего не слышала. Лица врача и слуги изменились от испуга, и, вне себя, я заподозрила, уж не последнее ли дыхание его я слышала. «*Дышит ли он?*» — закричала я в свою очередь. Никакого ответа. Я повторяла свои вопросы, но им не хватало мужества ответить мне. «*Во имя Неба, ответьте мне*», — сказала я доктору. «*Посмотрите сами*» — ответил он, подставляя мне руку дяди, чтобы я пощупала пульс. Я взяла ее, эту дорогую руку, я ее поцеловала, она была еще теплой, но биение пульса прекратилось. Я прикоснулась губами к его губам и не почувствовала дыхания. Какой момент! Великий Боже! Я окаменела, все чувства, казалось, исчезли; я смотрела поочередно то на дядю, то на тех, кто его окружал, видела их боль, но она была мне совершенно непонятной. «*Тетинька вас зовет*, — сказала мне женщина, прибежав из комнаты, — она беспокоится, что давно к ней не приходили». Эти немногие слова привели меня в себя. Что я ей скажу? Когда я предположила, что дядя в обмороке, то задержалась пойти к ней, опасаясь ее напугать; он придет в себя, думала я, и тогда я пойду к тете; а теперь какой удар я ей нанесу. Я застыла на месте, потом подошла к дядиной постели, как бы спрашивая у него, что делать. «*Сударыня!* — закричали мне несколько женщин. — *ради Бога, подите к тетиньке*». Я побежала. «*Ему дурно?*» — вскрикнула она вне себя, едва меня увидев. «*Нехорош он, тетинька*, — сказала я ей, с трудом

находя слова. — *Он слаб*». «*Он очень слаб*», — повторила она, глядя мне в глаза. — «*Слаб, тетинька*». Это слово, выскользнувшее у меня, казалось, поразило ее. «*Слаб*», — повторила она, пристально глядя на меня. — «*Его на свете нет!*» — «*Господи! он скончался, приобщиться не успел!*» — и в отчаянии, которое невозможно передать, она принялась в возбуждении ходить по комнате, повторяя: «*Кончено! Все кончено! Мамичка, друг мой, ты меня бросил!*». Она ломала себе руки, испускала стоны. Страдание лишило меня дара речи. Я видела ее, эту женщину, такой несчастной, на грани отчаяния, — ни слова, ни слова утешения; неподвижно стоя перед ней, я могла только следить за ней взглядом. Спустя некоторое время она меня заметила: «*Паша, друг мой, ты опять осиротела, Паша,* — сказала она душераздирающим голосом, — *Но ты меня не бросишь*». Я подошла к ней, целуя ей руки. «*Кончено, кончено,* — снова заговорила она, — *Он нас бросил*». В этот момент, движимая чувством, которое мне знакомо, вбежала Александрина Кожевникова и, видя тетю, которая со словами: «*Его уж нет*» — обнимала меня, бросилась на колени перед ней, воскликнув: «*Он жив, тетинька, он здоров будет!*». «*Господи, что она говорит!?*» — воскликнула тетя вне себя. Растерявшись, я подняла ее и вытолкнула из кабинета. «*Александрина, что ты говоришь?* — сказала я ей. — *Она все знает и ты ее только мучаешь*». Испуганная своей неосторожностью, она убежала. Люди подали мне знак подойти, так как им надо со мной поговорить. Едва я вышла из кабинета, они меня окружили: «*Сударыня, извольте всем располагать, уж тетушке не до того. В чем прикажете его положить? Сейчас обмывать станем*». «*Господи, погодите!*» — с нетерпением ответила им я. — «*Нет, нельзя, сударыня, пока не остыл*». Дрожь охватила меня, и с разрывающимся сердцем я тем не менее отдавала необходимые приказания. Я вошла в ту скорбную комнату, где так недавно еще всего надеялись. Какая ужасная перемена! Шум, гам, рыдания, говор нескольких голосов разом, открытые окна, стол посередине комнаты, а он! Он лежал в постели и как-будто спал глубоким и мирным сном. Его лицо сохранило ангельское спокойствие; никакого следа страдания, никакого волнения в чертах. Казалось, он спал и видел приятные сны. Люди повторяли, что его надо одевать. Я с трудом ушла из комнаты. Я отправила срочное сообщение в Петербург, написав Семену, чтобы он приехал. Чего мне стоило писать это ему, — дрожащей рукой, отказывающейся начертать роковое слово «его больше нет». Вскоре явились молодой Тырков и князь Шихматов. Я видела их накануне вечером, они оставили нас спокойными и счастливыми, и в одно мгновение все изменилось. Я вернулась к тете, она доверила мне свои ключи, приказав управлять всем. Пришли уведомить, что прибыл священник. Я снова зашла в спальню и увидела, что дядя

уже лежал на столе, со скрещенными руками, иконка около него и свечи вокруг. Обратившись к священнику, я попросила его исполнить последний долг. Он принялся читать молитвы по усопшему. Сколько различных чувств переполняло мое сердце! Этот гроб, эта смерть, которая унесла от нас того, кто был нам так дорог; мысль, что эта ангельская душа ушла к своему Создателю и оставила нам бездыханное тело, которое земля скоро заберет от нас; отчаяние всех, кто меня окружал, собственная моя боль при мысли, что я больше не увижу того, кто заменил мне отца, кого я не покидала целых тринадцать лет и который любил меня, как родную дочь. Не видеть его больше казалось мне невозможным; никогда прежде я не осмеливалась об этом думать; и теперь — лежащий без движения, с начавшими заостряться чертами, ледяной холод сковывает все его члены. Я подошла к нему, поцеловала лоб, скрещенные руки. Вне себя бросилась я на колени, моля Бога то за него, то за тетю. Иногда мне казалось, что его душа была еще здесь. Тогда я просила его послать мне благословение, его последнее благословение. Я не могла дольше оставаться в комнате и не плакать, я чувствовала, что задыхаюсь, тогда я открыла двери гостиной, которые выходят в сад, и принялась бродить по горе. Прошло три часа. Солнце всходило во всей своей красе. Ни облачка не было на небе, везде глубокая тишина, легкий туман покрывал еще равнины. Волхов, казалось, остановился в своем течении и отражал в волнах окружающие пейзажи; со всех сторон слышалось пение птиц. Но я была далека от того, чтобы радоваться этому зрелищу, оно причиняло мне боль. Я желала, чтобы солнце спряталось, чтобы птицы замолчали, чтобы все отвечало моей боли. А пока эта звезда, приносящая свет на землю и освещающая то блаженство, то страдания человеческие в пристанище переменчивой судьбы, продолжала спокойно свой обычный путь. Я заметила тетю у окна и пошла к ней. Она прошла в кабинет дяди, я за ней. Там все, казалось, дышит его присутствием, даже свечка, которую он зажег сам, еще горела, его раскрытый молитвенник указывал страницу, где он остановил чтение, которое не мог закончить, одежда, которую он бросил, его аспидная доска, на которой в прошлый четверг 6 июля он начал оду о быстроте времени; первая строфа ясно видна еще, он сам читал ее моему кузену Семену Капнисту. Далее следовали два стиха второй строфы, которую смерть помешала ему кончить. Одинокая среди всех этих предметов, связанных с воспоминаниями, которые только терзали сердце, я предложила тете выйти из этой комнаты и подняться в ту, которую я приготовила ей наверху. *«Нет, нет, мой друг, — сказала она с чрезмерной болью, — здесь все его, я отсюда не выйду. Маминка, друг мой, ты со мною, ах, конечно, ты со мною»*. Она снова принялась в волнении ходить по комнате. В другой момент, когда прилив боли

утих, ей казалось, что она видит его, слышит, будто он говорит ей, чтобы она не тиранила себя, и тогда, забывая все и занятая единственно им, она пыталась удержать рыдания. «*Не стану, не стану, мой друг, ты не велишь*», — повторяла она неоднократно, ища в себе силы ему повиноваться. То она казалась полностью сосредоточенной, закрывала глаза, произносила прерывистые слова, словно она, беседуя с ним, все время обещала ему успокоиться. Я повторила свою просьбу подняться, прежде чем тело перенесут в столовую. По-видимому, она поняла меня и вышла из кабинета. Вернувшись к дяде, я попросила священника остаться у нас, чтобы отслужить панихиду вечером и на другой день в удобный час. Этот добрый старик горько оплакивая с нами смерть того, кто был нам так дорог, вынужден был тем не менее мне отказать. «Император в *Грузию*, — сказал он, — завтра в семь часов утра он поедет мимо моей церкви, может быть пожалует туда, и это обязывает меня быть там». Я вспомнила тогда разговор моего дяди с этим священником о точном прибытии Императора, о дате, о которой он спрашивал, ответ, который он получил, и, сравнивая наше состояние счастья и спокойствия с нашим нынешним отчаянием, принялась горько плакать. Тело было перенесено в зал. Совершенно недоставало того необходимого, что делало эту мрачную церемонию торжественной; я покрыла гроб простой кисеей, чтобы защитить его от мух, так как ни в одной из близлежащих церквей не нашли покрова. «А что, — спросил Тырков, если Государь, который будет всего лишь в пяти верстах отсюда, узнает о кончине *Гаврилы Романовича* и приедет сюда?»<sup>XXV</sup> Как вы примете его?». Безразличная ко всему в своей глубокой скорби, я слушала, не слыша. Он повторил, что Император очень уважал моего дядю, чтобы не пожелать приехать проститься с ним. «Он не приедет, — сказала я ему, — я в этом уверена; впрочем, приедет или нет, все равно». Потом, подумав об этой бедности, так мало соответствующей положению и состоянию моего дяди, которая и заставила говорить молодого Тыркова, я от всего сердца пожелала, чтобы император проехал мимо. Это он и сделал; священник вернулся в восемь часов; Император, остановившись возле его церкви, вошел туда, чтобы приложиться к кресту, казалось совсем не зная о смерти моего дяди. Похоже было, что граф Аракчев, радуясь, что заполучил Императора к себе, не захотел смущать его удовольствия и не сообщил об этой новости, а возможно, и сам он не знал о ней. Господин Кожевников просил меня в письмах, которые я отправила в Петербург, перечислить все, необходимое для похорон. Какая просьба! Через пять минут после того, как он нас покинул, ошеломив этим несчастьем, я с трудом тем не менее в него верила. Я отказалась и предположила, что у них у всех должно быть больше рассудка, чем у меня в эту горькую минуту.

Александр и Семен приехали в понедельник, 10 июля; они ничего не привезли и тело начало уже портиться из-за сильной жары; все это время находясь с людьми на прощальных молитвах, я с болью видела, что жестокая смерть уносит потихоньку дядю и делает его непохожим на себя: зеленые пятна проступили на его лице, сильный запах чувствовался во всех комнатах и поднимался наверх, в комнату, где находилась несчастная тетя. Я попросила брата тотчас же поехать в Новгород, сделать там все необходимые покупки и быстро мне их переслать, тем более что тетя выразила желание похоронить прах дяди в монастыре святого Варлаама Хутынского, который расположен на берегу Волхова в одиннадцати верстах от Новгорода; местоположение монастыря очень нравилось моему дяде и он там часть бывал у Евгения<sup>XXVI</sup>, когда тот был новгородским архиепископом. Брат мой поехал просить разрешения выбрать место и уладить все, чтобы отвезти тело. Между тем домашняя челядь, не видя больше власти хозяина, позволяла себе разные беспорядки. Рассылаемые туда и сюда по разным надобностям, эти несчастные возвращались с боченками водки и пьяные; в таком состоянии они являлись спрашивать приказаний. Никогда не забуду жестокого впечатления, которое я испытала ночью того 10 июля. Чтобы остановить всеобщий беспорядок среди мужчин и даже среди женщин, которые в отчаянии пили, а потом ссорились в передних, я, не имея никого, чтобы могла положиться, силой заставила себя взять ключи от дома, так, как делала моя тетя; ко мне обращались со всем, в чем была нужда. Может быть, к своему счастью я возложила на себя эту обязанность, это заставляло меня ходить от одного места к другому, невольно занимаясь мелкими заботами. Я чувствовала себя плохо от ужасного жара, который изводил все мое существо; со времени нашего несчастья я не могла ни на мгновение заснуть. Мое волнение было таким сильным, что я не могла оставаться на месте и ходила без устали. Десятого тетя настоятельно попросила меня лечь: *«Она с ног свалится и этого не чувствует»*, — сказала она. Я повиновалась, но в три часа ночи меня спросили. *«Сударыня, — сказал Савка, едва держась на ногах, — извольте пожаловать еще водки, у пономаря в горле пересохло»*. Я спустилась по лестнице, и как сжалось мое сердце, когда я услышала пение псалмов над телом моего дяди, а с другой стороны, во дворе — песни и танцы беспутной прислуги.

Этот ужасный контраст, эта смесь безудержного веселья и самого глубокого отчаяния заставили меня испытать чувства, которые я никогда не забуду.

Я заставила их замолчать, этих несчастных! — и почувствовала себя так плохо, что, выдавая водку, которую просил у меня пьяница, упала бы, если б он же меня не поддержал. С какими разными

чувствами боролось мое сердце. Черты моего дяди, которые все больше искажались, представляли картину смерти. Боль от его потери, тревоги за мою бедную тетю, это всеобщее изменение во всем доме, эти пьяницы, которые отказывались повиноваться и часто поговаривали о свободе, все эти похоронные приготовления, которым я отдавалась целиком, как бы торопя момент, который унесет от нас это тело; чувство, которое было подавлено грустным воспоминанием, что вскоре на земле ничего от него не останется, — все эти тяжелые чувства, которые одолевали меня, поочередно приводили меня то в дрожь, то в жар, когда лицо горело, а губы пылали. Я чувствовала, что мысли мои путались, все мне казалось страшным сном, но стоны моей тети, рыдания, раздававшиеся со всех сторон, приводили меня в себя и доказывали, что наша потеря была реальной. Как несчастье увеличивает опыт! Как живо я почувствовала тогда, что вся жизнь должна быть только непрерывной подготовкой к переходу в лучшую жизнь; я почувствовала тогда благодарность к бесконечному милосердию, которым Бог нас защищает от страстной привязанности к предметам этого мира, потому что удел человека отделиться от них рано или поздно, и чем сильнее связи, тем труднее их разорвать.

О! Как все мне стало безразлично. У меня была единственная мысль, мысль о смерти, которая в одно мгновение отделяет душу от тела и бросает одну на добычу червям, а другую поднимает и представляет перед судьей и Богом. Ужасный момент, говорит Франсуа Сале,<sup>XXVII</sup> который и решает все испокон веков. Никогда такая толпа мыслей не утомляла меня, никогда я не видела, как умирает человек, и это был мой дядюшка, мой второй отец, который подверг меня такому жестокому испытанию.

11 июля все было доставлено из Новгорода, и было решено, что этой же ночью отвезут тело. Я сошла вниз, чтобы послушать последнюю молитву, покойник был уже в гробу, несколько священников окружили его и начали тихо петь «Вечную память». Комната наполнилась рыданиями. Став на колени, я повторяла про себя: *«Вечная память и в сердцах наших, милый дяденька»*. Сколько сирот, таких, как я, которым он был вместо отца, благословят навсегда его память, сколько лиц, несправедливо гонимых и нашедших в нем защитника, будут молиться за эту праведную душу! Какое стремление, какое нетерпение даже делать добро. Какая энергия первой молодости, когда речь шла о помощи ближнему, как любое промедление тогда становилось для него непереносимым.

Утешительной была мысль о том, что мы больше оплакиваем себя, для него же мгновение смерти стало его триумфом. Мы рыдали, в то время как он наслаждался признательностью, относящейся к

каждому из его добрых поступков, о которых я говорила, к каждому утешительному слову, которое он произносил. Какое благодное удивление для него, что эта бесконечность добра, которое он делал, всегда им забывалась. Я желала следовать за процессией до лодки, которая должна была доставить тело в Хутынский монастырь, но мне пришлось сказать, что тетя обо мне тревожится; я поспешила ее успокоить, но внутренне чувствовала себя очень плохо. Сильный жар, бесконечное волнение заставляли Александрина опасаться, что это начало лихорадки. Она заставила меня принять мазь из винного камня и пообещать, что я останусь с тетей. Ее страдание стало непомерным; ее сердце, казалось, предчувствовало, что должно было произойти. *«Его скоро увезут, — говорила она с интервалами, — Мамочка, друг мой, нас навсегда разлучают. Нет, моя душа, нет, ты со мною»*. И потом она принималась говорить тихо, как бы в бреду; отдельные прерывистые слова, которые она произносила, разрывали сердце.

О! Как состояние вдовы ужасно! Какое ужасающее одиночество во всем мире, когда потерял существо, составлявшее все его очарование.

Я была рядом с тетей и с сожалением решила не сопровождать дядю, но пойти и попрощаться с ним навеки. Мой кузен Семен Капнист сопровождал меня. Бог мой! Какая жестокая минута! Прижавшись губами ко лбу, который я тысячи раз целовала, я не чувствовала сильного запаха, который распространялся; я забыла, что это было всего лишь мертвое тело, которое совсем не напоминало моего дядю; одна мысль занимала меня, мысль, что от него не останется больше ничего на земле и что это мой последний поцелуй, мой последний взгляд на него. Я была слишком взволнована, чтобы пойти к тете, ушла в свою комнату и осмелилась без свидетелей отдать своей боли. Размышляя тогда о том, что с ним произошло и проливая горькие слезы, я благодарила Бога за мужество, которое он мне придал, ибо в самом деле, если бы за пять минут до нашего несчастья мне сказали, что оно нас постигнет и что одна в этот ужасный момент я увижу, как обрушиваются на меня все эти горестные обстоятельства, одна мысль об этом заставила бы меня содрогнуться, потому что никогда, я это повторяю, я не думала о том, что его потеряю. И теперь, видя, как я управляюсь со всем, входя в мельчайшие обстоятельства, сказали бы, что речь идет о похоронах совершенно постороннего мне человека. Часто удивляясь этой сверхъестественной силе, которую Бог в меня вселил, я спрашивала себя, действительно ли это был мой дядя, которого я видела лежащим на столе; была ли это я сама, которая его любила. Это размышление возвращало мне всю мою боль, и я ломала себе руки, потом, вновь утвердившись в этой странной силе, вновь принималась за все те заботы, которые требовались от меня.



Была полночь, когда я воротилась к тете. Она была тогда в угловой комнате, что находится над той, где диван. Опасаясь, чтобы она не заметила из окна как будут переносить гроб на лодку, я пригласила ее пройти во внутренние покои, она туда ушла и скоро легла в постель. Мои кузины и я остались в угловой комнате. Там царило долгое и утомительное молчание. Но как мы были потрясены, когда слышали погребальное пение. Гроб был вынесен и молитвы пелись вполголоса, но больше походили на стоны и их, пожалуй, не было бы слышно, если бы в комнате разговаривали. Я поспешила закрыть все двери и в тот момент, когда входила в комнату, обращенную во двор, заметила толпу людей, которая несла на головах гроб и медленно стала спускаться с горы. Какой торжественный вид! Ночь, такая спокойная, но такая сумрачная позволяла различать предметы лишь при свете фонаря; гроб не различался отчетливо, широкие серебряные галуны понемногу исчезали из глаз. Подобно тому, подумала я про себя, как страсти, которые по очереди играют нами, не различаясь, до самой смерти. Я долго следила глазами за гробом, потом, когда он исчез, принялась горько плакать.

Мой брат Александр вернулся лишь в четверг, 13 июля, в день именин моего дяди, и рассказал, что погребение прошло накануне с такой торжественностью и таким порядком, каких он не ожидал. Офицеры конно-егерского полка, где служил брат, пожелали сами нести гроб до церкви. Скучный Новгород, где обыкновенно ничего нельзя найти, снабдил нас по этому случаю всем, что было нужно, и, благодаря помощи доброй Е. И. Путятиной<sup>XXVIII</sup> все было сделано с большим порядком. Архиепископ отслужил сам. Место было хорошо выбрано, горе было таким глубоким, что можно сказать, будто многочисленные дети хоронили своего отца. Меня уверили, что было непреложным обычаем после такой печальной церемонии устраивать поминки для всех местных священников и для бедных. Я выбрала тринадцатое число этого месяца — надо было распорядиться накормить более 500 человек, и приготовления были долгими. В день прибытия Александра вся толпа собралась на большой поляне справа от дома, у подножия горы. Это было там, где мы всегда проводили праздники для крестьян, а теперь священники пели здесь молитву по усопшему. Потом все принялись за еду, как в дни увеселений. Вот гости, которых обещал нам мой дядя! Вот какие песни были у нас в его день! Он заставлял экономить дичь, благодарил тетю за булочки, которые она приготовила, и обещал их не трогать. Тяжкое воспоминание! Но тем не менее говорить о нем, о ком мы сожалеем и будем сожалеть, постоянно думать о нем, просить за него — это единственные утешения, которые нам остались.

Приближался конец шестинедельного срока, и моя тетя решила провести его в монастыре. Поэтому 15 августа мы покинули Званку, отправившись по воде. Сначала — к госпоже Кожевниковой, а шестнадцатого к семи часам вечера мы увидели монастырь, поднимавшийся на высокой горе, купола которого были еще освещены лучами заходящего солнца. Архиепископ, предупрежденный моей тетей о нашем приезде, приказал звонить вечернюю службу, как только заметил нашу лодку, предполагая, что тетя сразу же зайдет в церковь. Звук этих колоколов, вид монастыря, это спокойствие природы, это солнце, исчезающее из виду, тысячи воспоминаний о моем дяде сразу предстали, и, не пытаясь больше удерживать свои слезы, которые душили меня, я встала так, чтобы никто меня не видел, а видел только монастырь, к которому мы медленно подходили. Как прекрасна эта религия, которая в самом глубоком нашем страдании заставляет предвидеть скорый и неизбежный союз с лицом, которое мы оплакиваем, которая дает нам абсолютную веру. Сколь скорбь и слезы, которые она оставляет после себя на земле, имеют право на божественное и вечное блаженство.

На следующее утро моя тетя пошла послушать службу, после которой должны были служить молебен в память о дяде. Я очень опасалась за нее, но Бог ее укрепил. На коленях, рядом со мной, она молилась с таким жаром, что, казалось, обо всем забыла, слезы ее не переставали литься, скоро при имени *болярина Гавриила* вся церковь наполнилась рыданиями: казалось, все оплакивали отца. Все молились за эту душу, такую дорогую, навсегда наслаждающуюся вечным блаженством. Как только служба и молебен были закончены, моя тетя снова проявила спокойствие в своей боли и захотела даже принять участие в наших разговорах. Но время от времени казалось, что она нас не слышит и замыкается в себе. Было два часа, мой брат приказал накрыть к обеду, и в тот момент, когда готовились есть суп, тетя попросила слова, как если бы она не могла это больше держать в себе и хотела рассказать. Прерывающимся от слез голосом она рассказала нам следующее: *«Представьте себе, что случилось со мною во время молитвы моей. Я молилась за него и стояла подле тебя, Паша, на коленях и очень плакала. Вдруг мне показалось, что уже вас никого тут нет и наместо иконостаса, пред которым прежде мы все стояли, вижу я Христа одного. Не знаю, он ли сам, или изображение его, но только стоим мы двое с мамичкой перед ним. Мамичка стоял по правую руку, лицо такое спокойное, но бледное, голова нагнувшаяся, со сложенными на груди руками, как бы во время молитвы, во всех его чертах видна была какая-то необыкновенная покорность, но вместе с тем и спокойствие, он точно стоял как бы перед своим судьейю. Я же на коленях*

по левую его руку молюсь за него, плачу, чувствую, что это он, что я его люблю, но совсем уже не прежнюю мою привязанностью. Люблю его каким-то духовным чувством, которого я описать не могу. Оно так сильно, что среди слез моих я себе сказала: Господи, как мне тебя поблагодарить, ты меня с ним духом соединил. Вот что я видела», — сказала она, и, не в силах сдержать рыдания, закрыла лицо платком. Это утешительное видение, эти слезы, которые она проливала с такой нежностью, открыли нам божественное милосердие, позволившее ей увидеть еще раз того, кто был ей так дорог. Мы подумали, что это было то мгновение, когда душа, отделившись от тела, через 40 дней улетает и предстает перед своим судьей. Этот торжественный момент, который наша религия определяет как Сорокоуст, так соответствует тому, что тетя рассказала нам об увиденном, что всем нам показалось это отражением реальности. Может быть, в тот самый момент, когда тетя молилась за него с такими слезами, он появился перед своим Богом и судьей с тем спокойствием и с тем совершенным повиновением, которые она увидела своим печальным взором. «Какое величие я чувствовала! — продолжала она. — Как все земное показалось мне ничтожным! И вдруг все исчезло!» Она была так поглощена тем, что говорила, что невозможно было слушать ее без слез, обед был забыт, унесен, никто из нас не осмелился к нему прикоснуться.

Тетя, казалось, передала всем нам чувство, которое она испытала. Мы говорили о дяде, вместе плакали, и в то же время благодарили Бога, который послал истинное утешение моей бедной тете, обещая ей в конце концов союз с моим дядей, и дал почувствовать величие, великолепие и счастье Вечного царствия, которое их ждет. Время от времени тетя пыталась вновь заговорить об этом видении, и всякий раз вынуждена была остановиться, задохнувшись от рыданий. Она сохранила в своем сердце сильный, но утешительный образ, который воистину помогал ей переносить ее горе.



<sup>I</sup> Ла Порт Жозеф, де. Всемирный путешественник, или познание Старого и Нового Света, то есть описание всех по сие время известных земель в четырех частях Света... Пер. Я. И. Бугаковым. Пб., 1778—1794. Т. 1—27.

<sup>II</sup> Имеется в виду домашний врач Державиных Карл Григорьевич Бейтель.

<sup>III</sup> О посещении Державиным Обуховки 7 июля 1813 г. говорится также в Записках С. В. Капнист. См.: *Державин Г. Р. Сочинения*. Пб., 1880. Т. 8. С. 951.

<sup>IV</sup> Д. П. Трошинский, член Государственного совета; по мнению Державина, виновник многих его служебных невзгод.

<sup>V</sup> Александра Васильевна Браницкая (урожд. Энгельгардт), племянница Потемкина, статс-дама.

<sup>VI</sup> Матильда, или Записки из крестовых походов, сочинения г-жи Коттень /

Пер. Д. Бантыш-Каменского. М., 1807, 1813.

VII Дочь Николая Дьякова, брата Дарьи Алексеевны.

VIII Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах... сочиненная чрез г. Роллена... а ныне с французского переведенная чрез Василья Третьяковского. СПб., 1749—1762. Т. 1—10; 2-е изд. вышло не ранее 1781 г.

IX *Херасков М. М.* Бахариана, или Неизвестный, волшебная повесть, почерпнутая из русских сказок. М., 1803.

X Краткое объяснение церковного устава. СПб. [1809].

XI Строки из стихотворения Г. Р. Державина «Мечта», используя которые, Н. А. Львов написал одноактную «оперку» «Милет и Милета». В письме Н. П. Яхонтову с просьбой сочинить музыку к ней, Н. А. Львов сообщал: «Пастушья шутка, к тебе посылаемая, должна бы скороспелкою называться ... Мне задали ее как задачу ... сделать в летнее после обеда время пастушью драму для двух лиц и выученных уже девочками (дочерьми. — Е. К.) двух дуэтов. Связь сей драмы должна быть основана на песне „Вошел в шалаш“ и проч...» (ГПБ, ф. 247, № 37, с. 58).

XII Людвиг Фердинанд, племянник Фридриха Великого (род. 1772), убит в 1806 г. в сражении с французами при Саальфельде.

XIII Александра Скарлатовна Стурдза, любимая фрейлина Елизаветы Алексеевны.

XIV Семен Васильевич Капнист, племянник Г. Р. Державина, с 1813 по 1822 г. жил в доме Державиных в Петербурге, иногда выполняя роль секретаря.

XV Имение графа А. А. Аракчеева Грузино находилось в 18 верстах от Званки.

XVI Речь идет о Елизавете Николаевне Львовой, ее сыне Гаврииле, а так же о семье А. М. Бакунина, связанной родственными и дружескими отношениями с Державиными.

XVII Роман Иванович Симпсон, врач Державина.

XVIII Евстафий Михайлович Абрамов, секретарь Державина.

XIX *Précis de l'Eccleseeaste* — (переложение Экклезиаста) // *Oeuvres de Voltaire*. Paris, 1829—1834. Т. 12. P. 223 /

XX Иван Иванович Бахтин (1754—1818), сын орловского дворянина, в 1803—1814 гг. был Харьковским губернатором, до 1816 г. находился в отставке, затем вернулся к службе. Печатал свои стихи, басни, эпиграммы в журнале «Иртыш», несколько литературных произведений напечатал в 1816 г.

XXI Из стихотворения «К первому соседу» (1780), строфа 4.

XXII Семейство Кожевниковых жило в 30 верстах от Званки, также на берегу Волхова, в имении Пристань, и находилось в родстве с Дарьей Алексеевной. Александра Павловна Кожевникова подолгу гостила в Званке.

XXIII Князь Владимир Александрович Шихматов был женат на сестре Алексея Дмитриевича Тыркова Варваре Дмитриевне. Это семейство владело имением Вергеж в семи верстах от Званки.

XXIV Максим Фомич, врач, последние два года жизни Державина служил в его доме. Отчество «Федорович» написано по ошибке.

XXV 8 июля 1816 г. Александр I приезжал из Царского Села в Грузино к Аракчееву.

XXVI Болховитинов Е. А. (в монашестве Евгений), многие годы был дружен с Г. Р. Державиным

XXVII Франсуа (Франциск) Сале (Sales; 1567—1622), епископ женевский, в 1665 г. канонизирован, религиозный писатель и проповедник, стиль произведений которого отличался оригинальностью, очарованием, но также и мистицизмом. Его

«Introduction à la vie dèvote» (1608) «Руководство к благочестивой жизни» выдержало более 40 изданий и было переведено на многие языки (М., 1818. Ч. 1—3). Получил известность также его трактат «Traité de l'amour de Dieu» «Трактат о любви к Богу».

XXVIII Имение В. Е. и Е. И. Путятиных Пшеничище находилось на противоположном от Званки берегу Волхова.